

Научная статья
УДК 821.161.1
doi: 10.17223/15617793/479/5

Альтернативность или неизбежность? (К вопросу об историософии А. Солженицына)

Александр Олегович Большев¹

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, olegovich1955@mail.ru

Аннотация. На материале десятилетнего романа «Красное колесо» и других документально-исторических произведений А. Солженицына анализируется историософская доктрина писателя-идеолога. Выявляется оригинальная специфика солженицынского историософского мышления, совмещающего логику исторического волюнтаризма с детерминизмом фаталистического толка. Делается вывод, что антиномия альтернативности и неизбежности придает исторической прозе Солженицына многомерность и глубину.

Ключевые слова: Солженицын, «Красное колесо», Толстой, историософия, детерминизм, альтернативность

Для цитирования: Большев А.О. Альтернативность или неизбежность? (К вопросу об историософии А. Солженицына) // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 479. С. 50–57. doi: 10.17223/15617793/479/5

Original article
doi: 10.17223/15617793/479/5

Alternative or inevitable? (On Aleksandr Solzhenitsyn's historiosophy)

Aleksandr O. Bolshev¹

¹ Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation, olegovich1955@mail.ru

Abstract. The aim of the article is to analyze the historiosophical doctrine Aleksandr Solzhenitsyn developed in his ten-volume novel *The Red Wheel* and other documentary-historical works. The main problem is associated with the ambiguity of Solzhenitsyn's interpretation of Russian history of the early twentieth century. Solzhenitsyn categorically rejects historical determinism: carefully and in detail tracing the events that preceded the revolutionary explosion of 1917, as well as the Russian Revolution itself, he sharply denies the objectively conditioned nature of what happened. In contrast to Tolstoy, who in his *War and Peace* called the will of Providence the main driving force of history, Solzhenitsyn insists that everything that happened in Russia at the beginning of the 20th century was largely accidental. Describing Solzhenitsyn's historiosophy in *The Red Wheel*, critics rightly write about his "possible mode of thinking" (S. Kalashnikova), calling him the "author of a probabilistic history" (E. Orlova-Balsamo). However, the logic of "probabilistic history" is combined in an original way in *The Red Wheel* (and Solzhenitsyn's other historical works) with the actual recognition of the natural and inevitable character of the Russian revolution. As a result, the domestic history of the twentieth century, on the one hand, appears in Solzhenitsyn as a chain of completely arbitrary and chaotic events, and, on the other hand, it reveals some kind of insurmountable objective logic. Methodologically, the main reference point of the study on the problem of the inconsistency of Solzhenitsyn's view of the course of Russian history was V. Schmid's doctrine of oscillation – the involuntary hesitation of an ideological writer between two opposite semantic positions. As shown in the article, it is the concept of oscillation, developed by Schmid based on the analysis of Dostoevsky's novel *The Brothers Karamazov*, that throws light on the nature of the paradoxical duality of historiosophy unfolded in *The Red Wheel*: debunking Tolstoy's historical fatalism, the text of the novel includes "counter-sense". The novelty of the article is that it immerses Solzhenitsyn's historical prose in the context of his works: such an analysis leads to the conclusion that the contradictory interpretation of Russian history of the twentieth century arose on the basis of vacillations between the principles of "probabilistic history" and the logic of historical fatalism, which the author of *The Red Wheel* favored. Solzhenitsyn, like Tolstoy, perceives history as a process of realizing the will of Providence; however, unlike the latter, he considers that chosen great figures, not the masses of millions, are the conductors of this higher will.

Keywords: Solzhenitsyn, Tolstoy, *Red Wheel*, historiosophy, determinism, alternativeness

For citation: Bolshev, A.O. (2022) Alternative or inevitable? (On Aleksandr Solzhenitsyn's historiosophy). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 479. pp. 50–57. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/479/5

А. Солженицын является автором целого ряда всемирно известных произведений, основанных на документально-фактологическом материале, которые посвящены осмыслению трагических событий русской истории XX в. При этом крайне сложно дать сколь-нибудь внятную характеристику позиции писателя-идеолога в вопросе о движущих силах исторического процесса. Историческая рефлексия автора «Архипелага ГУЛАГа» и «Красного колеса» парадоксальным образом совмещает в себе «вероятностный»¹ подход, в координатах которого главным регулятором исторического потока оказывается фактор случайности, и детерминизм фаталистического толка, основанный на вере в то, что Бог присутствует «в каждой человеческой жизни <...> и в жизни целых народов» [2. Т. 2. С. 371]. При этом логика «вероятностной истории», находящая выражение в контрфактическом моделировании ключевых ситуаций прошедшего, в солженицынских произведениях предельно эксплицирована и, соответственно, находится в поле зрения читателей и исследователей, тогда как логика исторического детерминизма реализуется подспудно и завуалированно, а потому не привлекает к себе внимания.

Одним из основных факторов, оказавших влияние на формирование солженицынской историософии, следует признать резко негативное отношение писателя к большевистской революции и порождённой ею советской государственности. Считая коммунизм беспримесным метафизическим злом, Солженицын отвергал любые попытки предшественников или современников допустить, что исторические процессы, которые привели к возникновению в России тоталитарного монстра, могли носить объективно обусловленный характер. Отсюда и агрессивное солженицынское неприятие историософского подхода, основанного на отрицании (или же недооценке) альтернативности и абсолютизации неизбежности. В этой связи неудивительно, что в десяти томном «Красном колесе», главном историческом труде Солженицына, важнейшее место занимает полемический диалог с автором «Войны и мира».

Эта полемика не ограничивается историософской проблематикой и затрагивает целый ряд аспектов. Фигура Льва Толстого возникает в самом начале романа «Красное колесо» – именно к автору «Войны и мира» отправляется перед отправкой на фронт Саня Лаженицын, один из солженицынских героев-протагонистов. Юный Саня отважно вступает в спор с яснополянским идеологом непротравленного злу насильем: «Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И кличками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?..» [3. Т. 1. С. 24]. Полемический посыл, вложенный Солженицыным в уста героя, разумеется, связан с борьбой против революционного зла, которому, по убеждению автора «Красного колеса», необходимо давать беспощадный отпор, без оглядки на прекраснотушно-гуманистические «непротравленные» идеалы.

Значительное место в «Красном колесе» занимают также и антитолстовские выпады Солженицына, связанные с военно-бательной проблематикой, причем в центре внимания оказывается проблема функций военачальника. По сути же, здесь затрагивается ключевой для полемики Солженицына с Толстым вопрос о роли личности в истории. В «Войне и мире» идеальным военачальником представлен созерцательный Кутузов, который знает, что есть сила большая, чем его воля, «это неизбежный ход событий» [4. С. 175], а потому больше всего боится спешки, в сомнениях же неизменно «воздерживается» [4. С. 174]. При всём при том задача по руководству духом войска решается им успешно. Мудрая неспешность Кутузова в романе Толстого оказывается куда более эффективной, чем энергичная деятельность Наполеона. Солженицынский же подход к проблеме военного командования прямо противоположен: все военачальники у него делятся на две категории: созерцатели, вроде толстовского Кутузова – и «действователи», похожие на Наполеона; разумеется, симпатии автора «Красного колеса» всецело на стороне вторых.

Одним из таких созерцателей предстает в «Августе четырнадцатого» генерал Самсонов – правда, в его случае неспособность овладеть ситуацией оказывается в основном результатом чужих просчетов: «...Самсонов чувствовал, что он – не действитель, а лишь представитель событий, они же утекают сами по себе» [3. Т. 1. С. 93]; «Но его затуркали, закружили, события напирала быстрее, чем переваривал котел головы...» [3. Т. 1. С. 102]. «Затурканный» Самсонов вызывает жалость. Однако в подавляющем большинстве русские генералы, изображенные Солженицыным, заслуживают не сочувствия, а презрения за «вялость» и «полную неспособность ценить и плотно использовать время» [3. Т. 1. С. 233]. В этом плане крайне показателен генерал Благовещенский, который, будучи поклонником «Войны и мира», сознательно ориентируется на опыт толстовского Кутузова: «...генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмрителен, и осторожен, и хитер. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных резких распоряжений...» [3. Т. 2. С. 36]. Не менее очевидна антитолстовская направленность рассуждений о ярком и энергичном немецком генерале Франсуа: «...эта интуиция светилась у своевольного Франсуа, вероятно, не ведавшего о совете Льва Толстого, что «бессмысленно становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство» [3. Т. 1. С. 390].

Аналогичным образом Солженицын изобличает пассивность русских генералов, неспособных руководить событиями, и в последующих «узлах» своего романа, посвященных уже революционным процессам. Здесь ярким примером оказывается «созерцательное» поведение генерала Хабалова, командующего Петроградским гарнизоном, в феврале 1917 г.: «Хабалов попал в состояние, что его несло, толкало, поворачивало <...>. А пока нужно было сидеть тут и делать вид, что

управляешь событиями» [3. Т. 5. С. 281–282]. И неудачи в ходе войны с немецкой армией в августе четырнадцатого, и мгновенное разрушение государственности в феврале семнадцатого Солженицын объясняет фактором безусловного преобладания военачальников-созерцателей над действующими, подобными генералу Мартосу или полковникам Кабанову и Кутепову. Автор «Красного колеса», описывая гибельные для Российской империи военные просчеты, всякий раз горько сожалеет о том, что в нужном месте не оказалось подходящего «действующего».

Так, изображая ключевое для Восточно-Прусской операции сражение, он предлагает читателю представить себе на месте полка, бросившего позиции, другое подразделение во главе с другим военачальником: «Перенесите нарвцев на место дороговцев на этот неумолимый рубеж (но, с Толстым не смиряться, дайте им Кабанова и его батальонных командиров) – и взойдут они на то возвышение, где простых мужиков мы начинаем понимать богатырями» [3. Т. 1. С. 384]. Как мы видим, и эти солженицынские рассуждения, выдержанные в духе так называемой альтернативной (или вероятностной) истории, не обходятся без полемической отсылки к Толстому.

Современные исследователи, характеризуя толстовскую историософию, подчеркивают ключевую роль, которую, с точки зрения автора «Войны и мира», играют в историческом потоке «дифференциалы истории» (т.е. «однородные влечения людей»):

История движется не отдельными людьми с их доктринами, а совокупностью «бесконечно малых единиц» – «однородных влечений людей». По складу своего ума Толстой был рационалистом, но он категорически отрицал, что история движется по чьим-либо рациональным планам. Историческое движение так же неотвратимо, как движение пчелиного роя, как природные явления [5. С. 29].

Кроме того, как справедливо указывал А. Скафтымов, толстовская историософия, отмеченная печатью влияния Гегеля, носила во многом фаталистический характер:

Исходная основа философии Гегеля, также и философии самого Толстого, не позволила этой теории выйти за пределы фатализма. «Необходимость» Гегелем трактуется как ведущая сила «мирового духа» или «провидения»; также и Толстой ту же «необходимость» или совокупность причин в конце концов возводит к воле и целям «провидения». В конечном итоге воля людей утрачивает всякое значение, а движущей силой истории оказывается некая потусторонняя (не-человеческая) воля. Толстой не хотел называть себя «фаталистом», но по принятому основному принципу неизбежно им оказывался [6. С. 204–205].

Итак, главной движущей силой исторического процесса, по Толстому, выступает «воля Провидения». Люди же, вовлеченные в поток истории, даже если они носители высшей власти, являются всего лишь орудиями реализации этой воли. Наполеон у Толстого уподобляется маленькому мальчику в карете, которому взрослые дали игрушечные тесемочки: натягивая их, ребенок полагает, что руководит движением экипажа.

Толстой не устал подчеркивать, что разум человеческий слаб, и чаще всего действия людей носят бессознательный характер. Менее же всего человеческие существа ведают, что они творят, когда принимают участие в масштабных исторических деяниях.

Толстой не касается самого содержания ведущих целей «провидения»; он стремится лишь подчеркнуть независимость выполнения этих целей от намерений людей и подчиненность всех событий некоторым общим тенденциям, выходящим за пределы людских сознательных побуждений. Конечные цели истории человечества, находящиеся в воле «провидения», у Толстого остаются неизвестными [6. С. 200].

Размышляя о причинах начала Отечественной войны 1812 г., Толстой указывал: «...миллиарды причин <...> совпали для того, чтобы произвести то, что было. И следовательно ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться» [4. Т. 11. С. 5]. Известно, что некоторые мыслители XX в. трактовали и Русскую революцию в сходном духе – как предопределенное свыше событие. Так, Н. Бердяев утверждал: «Русская революция стояла под знаком рока, как и гитлеровская революция в Германии, она не была делом свободы и сознательных актов человека» [7. С. 221]. Аналогичным образом С. Аскольдов подчеркивал, что «Русская революция не есть дело рук человеческих, хотя подготавливалась она и человеческими усилиями» [8. С. 235].

Что же касается Солженицына, то в «Красном колесе» он, как уже подчеркивалось, с самого начала отрицает объективно обусловленный характер ключевых событий русской истории XX в., настаивая, что всё произошедшее в значительной мере стало результатом стечения случайных факторов: всё могло бы (и должно было бы!) сложиться иначе.

Возможный модус модальности – это отличительная черта историософской рефлексии Солженицына. Если бы не убийство Столыпина, то его обширная программа переустройства России к 1927–1932 гг., быть может превосходящая реформы Александра, простерла бы Россию еще невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров, если бы не «Август четырнадцатого» – разгром русской армии, не «Март семнадцатого» – низложение монархии, «Апрель семнадцатого» – общественный хаос, давший большевикам шанс для захвата власти, – все могло бы произойти иначе: и поражения можно было бы избежать, и трон устоял бы, и не было бы тех страшных эпизодов «Красного колеса», включая «Архипелаг ГУЛАГ»...

Так характеризует солженицынскую историософскую концепцию С. Калашникова [9. С. 117]. «При этом не провидение предопределяет исторические события <...>, но человеческий поступок» [9. С. 117]. Вывод С. Калашниковой ожидаемо сводится к тому, что «Солженицын не фаталист» [9. С. 118]. Во многом сходным образом характеризуют солженицынский подход к историческому процессу и другие исследователи – например Е. Орловская-Бальзамо называет автора «Красного колеса» «прямым антиподом Льва Толстого» [1. С. 200].

Казалось бы, в том, что Солженицын отвергает фатализм и отказывается усматривать в исторических событиях волю Провидения, действительно невозможно усомниться. Однако на самом деле ответить на вопрос, фаталист ли Солженицын, нелегко – особенно если выйти за рамки десятилетней эпопеи и обратиться к другим текстам писателя. Например, в книгах «Архипелаг ГУЛАГ» и «Бодался теленок с дубом», где важную роль играет исповедально-автобиографическое начало, Солженицын настойчиво и последовательно трактует свою судьбу в сугубо фаталистическом духе. Так, в «Архипелаге...» автобиографический герой-рассказчик долгое время воспринимает арест, тюремно-лагерную неволю, а также и раковую опухоль с метастазами в качестве несправедливых и незаслуженных случайностей, но в конце концов прозревает и осознает, что такова была воля Всевышнего:

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском – злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара – но чья?

Ну, придумайте – чья? [10. С. 383]

В «Телёнке...» Солженицын сочувственно цитирует рассуждения Вяч. Всев. Иванова: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми верно понимается. Он дается чаще нам в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как бессмысленна наша жизнь. Успех великих жизней часто в том, что человек, расшифровав спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти» [11. С. 126]. В этом же произведении обращает на себя внимание следующий авторский комментарий о направляющей руке Провидения:

Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости в цепи русских бед, – я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал и обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего – и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной направляющей цели, не понимал верного пути, – и всегда меня поправляло Нечто [11. С. 126].

Правда, на первый взгляд может показаться, что Солженицын, усматривая мистическую логику в собственной судьбе, отказывается видеть её в русской истории. Однако внимательное чтение автобиографической книги «Бодался теленок с дубом» убеждает в том, что замысел высших сил, которые вели писателя-идеолога Александра Солженицына по «верному пути», отнюдь не ограничивался узкими рамками одной персональной жизни. Ведь Солженицын предстает в «Телёнке...» великим историческим деятелем, инструментом реализации глобальной воли Провидения – не зря же он именует себя «мечом в длани Господа» [11. С. 408]: «О дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из

руки твоей!» [11. С. 344]; «То и веселит меня, то и утверждает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять» [11. С. 344]. Герой «Телёнка...» одерживает победы над всемогущими советскими спецслужбами, ибо его направляет «Высшая Рука» [11. С. 344].

Так, например, публикация книги «Архипелаг ГУЛАГ», которой суждено было нанести смертельный удар по основам советской государственности, тем самым изменив историю («Да, предстояло “Архипелагу” менять историю, в этом я уверен...» [11. С. 349]), оказалась возможной благодаря помощи Всевышнего: «Только теперь, нет, только сегодня я понимаю, как удивительно вёл Бог эту задачу к выполнению» [11. С. 350]. О том, что время для обнародования великого произведения пришло, Солженицын известил некий знак свыше: «...Божий перст! Это ты! <...> разве бы я сам решился? разве понял бы, что пришло время пускать “Архипелаг”? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, – открывай!!!» [11. С. 319]. И далее Бог не позволил советским спецслужбам физически устранить автора «Архипелага ГУЛАГ»: «Бог меня берёт...» [11. С. 348]. Таким образом Провидение, регулируя персональную жизнь Солженицына, фактически осуществлялодемиургический контроль и над русской (и мировой) историей в целом.

Итак, амплитуда колебаний писателя в связи с интересующей нас проблематикой широка: от логики «вероятностной истории», доминирующей в «Красном колесе», до процитированных выше откровенно фаталистических суждений из книги «Бодался теленок с дубом». Солженицын характеризует историю как бесконечно сложный «результат взаимодействия Божьей воли и свободных человеческих волей»: «Конечно, Божья воля проявляется, но не фаталистично, и человеческие воли тоже проявляются» [2. Т. 3. С. 325]. Порой солженицынские публицистические размышления о воле Господа, которую люди, иногда сознательно, но чаще сами того не осознавая, воплощают в жизнь, могут показаться похожими на знаменитые историософские комментарии из «Войны и мира»: «...слово Провидение не хочется употреблять всуе. Произнося это слово – вступаешь в область торжественного. Я – убеждён в присутствии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что вовремя ничего не можем понять. Все изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием. Так, уверен я, когда-нибудь поймём мы и замысел о Семнадцатом годе» [2. Т. 2. С. 371]; «Остаётся просто Бога молить: Господи, пошли нам завтра внезапно полную демократию! Но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю. Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход» [2. Т. 2. С. 253].

Однако, разумеется, солженицынская трактовка принципов и механизмов воплощения замыслов Гос-

пода в корне отличается от толстовской позиции. Подобно Толстому, Солженицын полагает, что Бог реализует Свою волю, действуя «через нас», но, в противоположность автору «Войны и мира», решительно не верит в ключевую роль «дифференциалов истории». Он убежден, что проводниками воли Провидения выступают отнюдь не многомиллионные массы с их стихийными «однородными влечениями», но избранные, великие личности, осознанная и целенаправленная деятельность которых основана на расшифровке спущенного с небес «шифра неба». Крах российской государственности, очевидно, стал возможен, ввиду отсутствия в стране должного количества подобных лидеров. В «Красном колесе» резко выделяется образ Петра Столыпина – единственного из исторических деятелей России начала XX в., кто был способен, по мнению Солженицына, успешно разрешить основные проблемы, стоявшие перед страной. Именно ему в романе отведена роль «меча в длани Господа». Убийство Столыпина трактуется в романе как ключевой и поворотный, воистину трагический момент национального бытия – не случайно утверждается, что застреливший его Богров повернул «ход истории 170-миллионной страны» [3. Т. 2. С. 280]. Увы, в 170-миллионной империи не нашлось, кроме Столыпина, ни одного другого деятеля, готового противостоять революционной стихии.

Разумеется, на вопрос о причинах подобного катастрофического оскудения России на яркие личности, способные стать «мечами в длани Господа», можно отвечать по-разному. В «Красном колесе», как уже подчеркивалось, на первом плане в этой связи фигурирует фактор случайности, что и приводит интерпретаторов произведения к выводу, что Солженицын «не фаталист». Однако и в десяти томной эпопее позиция Солженицына, несмотря на многочисленные полемические инвективы, направленные против толстовского исторического фатализма, далека от однозначности. Порой «возможностный модус мышления» [9. С. 117] уступает место раздумьям о неподвластном поверхностному разуму Божьем промысле – уж не им ли был обусловлен катастрофический дефицит энергичных и разумных «действователей» в тогдашней России? И можно ли признать случайностью то, что Бог, уберегший Солженицына от мощной структуры КГБ, ранее не спас Столыпина от террориста-одиночки? Не предопределено ли всё произошедшее Божьим «замыслом о Семнадцатом годе», который когда-нибудь откроется нам?

Как отметил К. Шевцов, «Александр Солженицын, всегда тяготевший к авторитарно-проповедническому слову и монологическо-одноидейному повествовательному формату, в результате тем не менее создал целый ряд произведений, которые обнаруживают всецело полифоническую природу» [12. С. 120]. Это точное наблюдение бросает свет на особенности художественно-смысловой конструкции «Красного колеса». Действительно, в десяти томном романе о Русской революции прежде всего выделяется идеологическая риторика повествователя, которую отличает безусловное доминирование прямолинейно-однозначных сужде-

ний и выводов. Практически все безапелляционно-категорические высказывания, развенчивающие исторический детерминизм и объясняющие российские катаклизмы случайностями, относятся именно к этому компоненту повествовательной структуры романа. Проблема в том, что направленность этих риторических деклараций нередко вступает в противоречие с логикой событийно-фактологического ряда, отслеживающего эмпирическую реальность отечественной истории. Кроме того, убедительное опровержение антидетерминистской риторики повествователя обнаруживается в рассуждениях значимых персонажей романа, точкой зрения которых организованы большие повествовательные сегменты, – в особенности же наделенных (в той или иной степени, разумеется) статусом авторитетности: Георгия Воротынцева, Николая II, Александра Гучкова и др.

Представляется, что в этой связи можно говорить об осцилляции – «невольном раздвоении автора <...> насильственно вытесняющего одну сторону, одну стихию своего противоречивого мышления» [13. С. 192]. Феномен осцилляции был рассмотрен В. Шмидом на материале романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»: по убеждению исследователя, основной идеологический посыл этого произведения был довольно прямолинейным, однако «противосмысл вошёл в роман за спиной преследующего определенный замысел автора» [13. С. 189], и случилось это, вследствие подспудного скепсиса писателя. Возможно, и замысел Солженицына, связанный с развенчанием толстовской историософии, поначалу носил прямолинейный, однозначно-монологический характер, однако в процессе реализации этой целевой установки в текст десяти томного романа ворвался «противосмысл», ставший отражением как всегдашней склонности писателя-идеолога к фатализму, так и его сомнений в истинности принципов «вероятностной истории». Очевидно, именно на почве колебаний автора «Красного колеса» выросла противоречивая интерпретация русской истории XX в., с одной стороны, предстающей как цепочка совершенно произвольных событий, а с другой – обнаруживающей какую-то непреодолимую (хотя и загадочную) логику.

Итак, на первом плане в романе оказывается фактор случайности – в каждом из «узлов» идеологическая риторика повествователя убеждает читателя в том, что разрушительный для России ход событий стал результатом произвольных, злосчастных для страны совпадений: конкретно же речь идет о том, что историю творят люди, и характер её определяется личностями, занимающими руководящие посты. Вот, например, очень показательный комментарий:

Но с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда, как на Мартосе (И тут бы утешиться толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, – да слишком много раз показал нам XX в., что именно они.) [3. Т. 1. С. 379].

Так, катастрофические для России военные события августа 1914 г. Солженицын стремится объяснить их чередой сугубо случайных неудачных кадровых решений: безусловное большинство генералов попросту не соответствовало занимаемым постам. Так, именно в силу случайности весной 1914 г. важную должность начальника Генерального штаба занял ничтожный генерал Янушкевич, сыгравший, по Солженицыну, едва ли не ключевую роль в гибели армии Самсонова:

Мы еще мало ведаем, как многое в великой истории народов зависит от ничтожных людей и ничтожных событий. В марте 1914 российский военный министр, болтун и царедворец Сухомлинов (более занятый капризами своей молодой красивой жены, чем обороной империи), рекомендовал императору назначить на пост начальника Генерального штаба – своего выслуженца, профессора военной администрации, вкрадчивого лжевоенного генерала Янушкевича. Как всегда при нашем троне, такие важнейшие назначения легко решались по расположению к просящему, не слишком сообразуясь с качествами, нужными для должности. Этот ничтожный самоупоенный Янушкевич начерпал России столько зла, что достало бы трем выдающимся злодеям [3. Т. 3. С. 252]. «Так один неконтролируемый случайный выскочка определил весь ход тыла» [3. Т. 3. С. 253].

Надо сказать, что сетования на дефекты кадровой политики Николая II встречаются у Солженицына не только в «Красном колесе», но и в публицистике: «Как можно было с такой поразительной последовательной слепотой – на все государственные и военные посты изыскивать только худших и только ненадежных?» [2. Т. 1. С. 466]. Однако в «Красном колесе» точка зрения, согласно которой неудачные кадровые назначения были обусловлены «слепотой» царя, явно поставлена под сомнение. Так, в одном из эпизодов автор романа дает возможность самому Николаю II весьма убедительно ответить на обвинения (в данном случае исходящие от генерала Рузского) в кадровой «слепоте»:

Но разве делил с ним когда-нибудь Рузский или Алексеев, или любой громогласный общественный критик, или вообще кто-нибудь, кроме верной жены и покойного Григория, – это мучительное перебирание имен, жгучий многодневный поиск в людской пустоте, когда, кажется, голова уже лопается, а кандидатуры всё не приходят! Да наконец: а все кандидаты, которых предлагало общество, – чем они были способней, или приготовленней, или опытней, чем выбранные царем? Да ни в чем и никто. <...> Нет в России сейчас таких общественных элементов, которые были бы приготовлены к делу управления страной и способны исполнять обязанности власти [3. Т. 6. С. 455].

Таким образом, по мнению императора, неудачные кадровые назначения носили отнюдь не случайный характер, но были обусловлены кризисом, в состоянии которого пребывала российская военно-политическая элита в начале XX в. Авторитетность этой точки зрения, заставляющей нас видеть в случайностях орудие макроисторической закономерности, подтверждается в ряде других эпизодов романа, где речь идет о катастрофическом дефиците «действителей» в России.

Так, уже после свержения царя Александр Гучков сокрушается по тому же поводу: «...да ведь Россия всегда сверкала множеством талантливых людей – и куда же они все делись? Как же затесался боец Гучков среди растяп и ничтожеств? За эти полтора месяца он отчислил полтора десятка бездарных генералов и высших начальственных лиц и только и делал, что выдвигал талантливых. И – никого вокруг. Одинок» [3. Т. 9. С. 302].

Аналогичным образом дело обстоит и с объяснением причин военных неудач русской армии. Роман «Август Четырнадцатого», с которого и начинается «Красное колесо», строится (в духе всё той же «вероятностной истории») на педалировании упущенных Россией на первом же этапе кампании возможностей разгромить немцев. История гибели армии Самсонова рисуется Солженицыным как череда однотипных эпизодов, в ходе которых в нужном месте у русских, к несчастью, каждый раз не оказывается нужного командира – решительного, храброго, ответственного. Между тем за подобными «случайностями» явственно обнаруживается всё та же непреложная закономерность, объективная тенденция, связанная с общей неподготовленностью России к войне, с дефицитом у нее квалифицированных военачальников и чиновников.

В этом плане идеологическая риторика повествователя, не устающего повторять, что русская армия способна была нанести немцам поражение и только роковые случайности помешали ей, вновь вступает в противоречие с событийно-фактологическим рядом, который убедительно свидетельствует об обратном. Мы узнаем, что «Положение о полевом управлении войск» утверждено было в России за два дня до всеобщей мобилизации, а семилетнюю программу вооружения приняли за три недели до начала войны. Все телеграфные переговоры, которые велись тогда нашими военачальниками, не шифровались, и германское командование, получив доступ к секретной информации, поначалу подозревало какой-то тонкий подвох вражеской контрразведки, однако, как подчеркивает Солженицын, причина заключалась в банальной военно-технической отсталости русской армии.

Подавляющее превосходство немецкой военной машины раскрывается и на уровне риторики, которую озвучивает основной герой-протагонист. Показателен эпизод, где полковник генерального штаба Воротынцев скачет верхом на жеребце, пытаясь отыскать потерянные в прусских просторах корпуса растянувшейся армии Самсонова, и сознает, что в это самое время на вражеской территории десятки немецких генштабистов едут спокойно по твердым шоссе на быстрых автомобилях, и связаны они меж собой сплошным телеграфом, данные получая с помощью аэропланов [3. Т. 1. С. 122–123]. «Нет, так не воюют!» – с горечью думает Воротынцев [3. Т. 1. С. 130]. Трудно, вслед за солженицынским персонажем, не признать очевидного: что «германская армия – сильнейшая в сегодняшнем мире, что эта армия – со всеобщим патриотическим подъемом; армия с превосходным аппаратом управления; армия, соединившая несоединимое: беспрекословную прусскую дисциплину – и подвижную европейскую самостоятельность» [3. Т. 1. С. 119]. А в третьем томе Солженицын вкладывает

в уста своего главного протагониста мысль о фатальной неизбежности поражения, причиной которого оказывается фактор пресловутого «духа войска»:

...И всё больше прорезало Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя война – не та. Как говорят в народе – не задалась. По ошибке начата, не с той ноги. И ведется губительно [3. Т. 3. С. 140]; В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насилием или стихийным бедствием, – и из сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к немцу враждебность... [3. Т. 3. С. 141].

Впрочем, анализ «Красного колеса» убеждает, что и в рамках авторитарной риторики повествователя далеко не всё обстоит так однозначно, как может показаться на первый взгляд. В целом ряде комментариев повествователя речь идет о фатальной обреченности самодержавия – в силу катастрофической моральной деградации правящего слоя:

Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряжены слежением за системой перемещений, возвышений и наград – разве это не паралич власти? То-то: как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 г., мы не встречаем потом в Белом движении, так ни один из этих полицейских зубров, любимчиков Двора и старцев Совета не промелькнет на защите трона, когда он станет падать: все притаится или рассеется. Они от Седьмого года и до Семнадцатого не несли сознания полной опасности, наступила революция – они не имели присутствия духа даже для самозащиты [3. Т. 2. С. 341].

Как мы видим, здесь повествователь не пытается объяснить кризис власти совокупностью случайных просчетов в сфере кадровой политики. А вот еще один комментарий повествователя, в котором революционная катастрофа фактически трактуется в толстовском духе – то есть в качестве события, которое «должно было произойти»:

Как и во многих крупных общественных процессах, разновременные и разнонаправленные усилия отдельных групп постепенно складывались в единое движение истории. Концы какой-то непонятной веревки, не различаемой на близком отстоянии, попали – один в

руки общественности, один – в руки правительства, и те и другие то уверенно, то с колебаниями выбирали, тянули ее к себе, сколько могли. И не осмотрелись, что веревка та закладывается сама в петлю, а та петля оказывается не где-нибудь, а на питающем горле России [3. Т. 4. С. 321].

И в написанном в 1990 г. коротком предисловии к «конспекту» заключительных «узлов» Солженицын трактует ход революционных событий (конкретно речь идет о победе большевиков) в духе исторического детерминизма:

Уже и «Апрель Семнадцатого» выявляет вполне ясную картину обреченности февральского режима – и нет другой решительной собранной динамичной силы в России, как только большевики: октябрьский переворот уже с апреля вырисовывается как неизбежный [3. Т. 10. С. 559].

Итак, необходимо подчеркнуть, что колебания в вопросе о соотношении случайного и закономерного, возникшие в солженицынской исторической прозе, вероятно, спонтанно, вопреки изначальным целевым авторским установкам, отнюдь не следует воспринимать как некий дефект. Фактически в данном случае можно говорить о диалектике альтернативности и неизбежности, которая, будучи обусловлена очень специфическим личным мироощущением и опытом писателя, тем не менее в целом соответствует научным представлениям ведущих современных историков. Так, видный теоретик исторической науки Р. Козеллек называет «сомнительным» традиционное противопоставление необходимости и случайности: «...В зависимости от точки зрения наблюдателя, событие может выглядеть как случайное или неслучайное. При этом сомнительное противопоставление необходимости и случайности снимается и в историографическом смысле. При взгляде на одну совокупность заданных условий событие может предстать как случайное, при взгляде на другую совокупность – как необходимое» [14. С. 171]. Представляется, что именно диалектика случайности и необходимости освобождает солженицынские исторические полотна от прямолинейно-монологического схематизма и придает им многомерность и глубину.

Примечание

¹ Е. Орловская-Бальзамо справедливо называет Солженицына «автором вероятностной истории» [1. С. 208].

Список источников

- Орловская-Бальзамо Е. Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн // Новый мир. 1996. № 7. С. 195–211.
- Солженицын А. Публицистика : в 3 т. Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1996.
- Солженицын А. Красное колесо: Повествование в отмеренных сроках в 4 узлах. Т. 1–10. М. : Воениздат, 1993.
- Толстой Л. Полное собрание сочинений : в 90 т. М. : Худ. лит., 1935. Т. 11.
- Лурье Я. После Льва Толстого. Исторические воззрения Толстого и проблемы XX века. СПб. : Лев Буланин, 1993. 166 с.
- Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М. : Худ. лит., 1972. 544 с.
- Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. Л. : Лениздат, 1991. 395 с.
- Аскольдов С. Религиозный смысл русской революции // Вехи. Из глубины. М. : Правда, 1991. С. 202–254.
- Калашникова С. Особенности историософского мышления А.И. Солженицына // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2009. № 1. С. 114–119.
- Солженицын А. Малое собрание сочинений : в 7 т. М. : Инком НВ, 1991. Т. 6.
- Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М. : Согласие, 1996. 688 с.
- Шевцов К. Солженицын-идеолог: к постановке проблемы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия: Филология и искусствоведение. 2019. Вып. 4. С. 116–123.
- Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб. : Инапресс, 1998. 352 с.
- Козеллек Р. Случайность как последнее прибежище историографии // Thesis. 1994. № 5. С. 171–184.

References

1. Orlovskaya-Bal'zamo, H. (1996) Chelovek v istorii: Solzhenitsyn i Ippolit Ten [Man in history: Solzhenitsyn and Ippolit Ten]. *Novyy mir*. 7. pp. 195–211.
2. Solzhenitsyn, A. (1996) *Publitsistika: V trekh tomakh* [Publicism: In three volumes] Yaroslavl: Verkhne-Volzhskoye knizhnoye izdatel'stvo.
3. Solzhenitsyn, A. (1993) *Krasnoye koleso: Povestvovaniye v otmereennykh srokakh v 4 uzlakh* [Red wheel: Narration in measured terms in 4 knots]. Vols 1–10. Moscow: Voenizdat.
4. Tolstoy, L. (1935) *Poln. sobr. soch.: V 90 t.* [Complete Works: In 90 volumes]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
5. Lurie, Ya. (1993) *Posle L'va Tolstogo. Istoricheskiye vozzreniya Tolstogo i problemy XX veka* [After Leo Tolstoy. Historical views of Tolstoy and the problems of the twentieth century]. Saint Petersburg: Dmitriy Bulanin.
6. Skaftymov, A. (1972) *Nravstvennyye iskaniya russkikh pisateley: Stat'i i issledovaniya o russkikh klassikakh* [Moral searches of Russian writers: Articles and research on Russian classics] Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
7. Berdyayev, N. (1991) *Samopoznaniye. Opyt filosofskoy avtobiografii* [Self-knowledge. The experience of a philosophical autobiography] Leningrad: Lenizdat.
8. Askoldov, S. (1991) Religioznyy smysl russkoy revolyutsii [Religious meaning of the Russian revolution] In: *Vekhi. Iz glubiny* [Milestones. From the depth]. Moscow: Pravda, pp. 202–254.
9. Kalashnikova, S. (2009) Osobennosti istoriosofskogo myshleniya A.I. Solzhenitsyna [Features of the historiosophical thinking of A.I. Solzhenitsyn]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Obshchestvennyye nauki*. 1. pp. 114–119.
10. Solzhenitsyn, A. (1991) *Maloye sobraniye sochineniy: V 7 tomakh* [A Small Collection of Works: In 7 volumes]. Vol. 6. Moscow: Incom NV.
11. Solzhenitsyn, A. (1996) *Bodalsya telenok s dubom: Ocherki literaturnoy zhizni* [The oak and the calf: Essays on literary life] Moscow: Soglasiye.
12. Shevtsov, K. (2019) Solzhenitsyn-ideolog: k postanovke problemy [Solzhenitsyn the ideologist: to the formulation of the problem] *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Filologiya i iskusstvovedeniye"*. 4 (247). pp. 116–123.
13. Schmid, V. (1998) *Proza kak poeziya. Pushkin, Dostoyevskiy, Chekhov, avangard* [Prose as poetry. Pushkin, Dostoevsky, Chekhov, avant-garde]. Saint Petersburg: Inapress.
14. Kosellek, R. (1994) Sluchaynost kak posledneye pribezhishche istoriografii [Chance as the last resort of historiography]. *Tezis*. 5. pp. 171–184.

Информация об авторе:

Большев А.О. – д-р филол. наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: Olegovich1955@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

A.O. Bolshev, Dr. Sci. (Philology), professor, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: olegovich1955@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.12.2021;
одобрена после рецензирования 13.06.2022; принята к публикации 30.06.2022.

The article was submitted 13.12.2021;
approved after reviewing 13.06.2022; accepted for publication 30.06.2022.